

**РЕШИТЕЛЬНО** не представляя, как пишется литературные портреты, и вовсе не полагая залезать в «критический огород», я тем не менее решил вспомнить о нескольких встречах с Владимиром Тендряковым и выказать некоторые соображения о его прозе. Нет нужды особо называть причины, побудившие меня взяться за него, — надеюсь, читатель все поймет из помещенных ниже заметок.

...Нас познакомили в 1965-м, зимой. Тендряков, порасспросив об Иркутске, сказал: «Собираюсь к вам, в Сибирь. Интересно посмотреть». С вежливым невниманием я пробормотал: «Конечно, ради бога, милости просим», — но не поверил его словам: многие собираются в Сибирь, да немногие приезжают.

Но он приехал, в том же году, в теплый дождливый июньский день, когда и положено, по народной примете, приезжать хорошим людям.

Мы улетели в Братск. Там было ветрено, солнечно и просторно. Помню, мы долго поднимались по сумрачным, гулким переходам на гребень Братской ГЭС. Поднялись и чуть не ослепли от зеленого блеска моря, чуть не задохнулись от влажного, свежего верховника. Наша провожатая, инженер Наташа Синицына, с некоторой торжественностью объявила:

— Мы находимся на 407-й отметке над уровнем Великого океана.

Посидели на теплом, забытом плотниками бруске, покурили, потом вбили подвешенный гвоздь «сороковку» в основную доску — оставили, так сказать, свой гвоздь.

Тендряков был весел, ласков, часто повторял: «Прекрасно! Ах, как прекрасно!» — и медленно, запоминая, оглядывался. Вечером мы почему-то решили подняться еще на одну высоту — на крышу недостроенной метеообсерватории. Преодолев кучи битого кирпича, песка, обломков штукатурки, побалансировав по каким-то жиденьким досточкам, завершили это причудливое восхождение на плоской асфальтовой площадке, обнесенной железными поручнями. Невидимо плескалось Братское море, в его черной мгле как-то печаль-

но и желто помаргивал огонек плавучей метеостанции, нас обдавало теплыми волнами запахов цветущего шиповника, влажной травы, дальнего рыбацкого костра. Тендряков снова, со счастливыми вздохами, повторял: «Прекрасно! Ах, как прекрасно!» — должно быть, размягчвшись, разнежившись душой от необъятных сибирских просторств.

В ту пору я и понятия не имел о его крутом, неукротимом, порой нетерпимом нраве. Не был еще свидетелем его беспощадных, прямо-таки яростных споров, когда он холодно белеет лбом, когда напрягшиеся губы спокойно выговарива-



ют хлещущие слова и презрительно вздрагивает заносчивый суворовский хохолок (если уж быть совсем точным: почти суворовский, который, к сожалению, невозвратно поредел). Когда Тендряков может среди мирной, тихой беседы вдруг вспыхнуть, вскочить, — заматывается от приступа гнева.

Но в то лето он был мягок и ровен. И в Братске, и позже, в Улан-Уде, где посреди ослепительной жары оведал нас добрый бурятский дух, олицетворенный в Цыден-Жапе Жимбиеве, однокашнике Тендрякова по Литературному институту. Наверное, душевное равновесие Владимиру Федоровичу сохраняли сибирское хлебосовершенство и почти полное освобождение от литературных разговоров.

...Через год или два, не помню, но тоже летом я приехал к Владимиру Тендрякову в Красную Пахру. Походили под дачными соснами, по дачным тропинкам: он был поначалу отсутствующе-рассеян и сонлив — только-только встал из-за рабочего стола. Но потихоньку разошелся, разговорился, наконец во-

все воспрянул. Остановился под сосной и, часто, коротко тыча в мою сторону мундштуком, воскликнул:

— Что в сочинительстве главное?! Главное: довести до невозможного! Доведи, и тогда Раскольников обязательно убьет старуху, а Анна обязательно бросится под поезд. Доведи, доведи до невозможного! И тогда я тебе поверю.

Должно быть, это «доведи до невозможного» следует понимать как густой, почти неразбавленный настой, концентрат поступков, драматическое или трагедийное столкновение которых кончается мощным психологическим взрывом — после него рассеиваются

душе к художественному успеху. Можно, разумеется, и спорить об оценках того или иного отображаемого художником жизненного материала. Но тот пыл, та страсть, с которыми Тендряков отстаивает свою «веру», служат, на мой взгляд, воодушевляющим примером.

...Бывая в Красной Пахре, я всегда с безотчетным интересом рассматриваю тендряковский письменный стол. Удивительное сооружение! Со всяческими встроенными полочками, ящичками, шкафчиками, оно так необычно, что за него можно посадить добрую писательскую организацию с персональными диктофо-

вал содержание той или другой. Я внимательно, даже напряженно слушал, стараясь понять эти головокружительные теории, но почему-то постепенно голос его становился далеким и невнятным, а перед глазами возникали фантастические переплетения фантастических приборов, в которых пульсировала, хлопотала передовая мысль — и не потрогать ее, не увидеть, во всяком случае мне...

Однажды Тендряков поболал втолковать мне некоторые сведения о «черных дырах» и утечке материи (прошу покорно всех физиков и сведущих лириков извинить меня за ненаучность терминологии). И мне вдруг

много, что заполняет улицу, крадется мимо.

Хлопнула где-то дверь, кто-то из людей вышел из своего дома. Скоро появится много прохожих. И улица снова изменится. Скоро, пройдет немного времени...

И Дюшка задохнулся — он понял! Он открыл! Сам того не желая, он назвал в мыслях то невидимое и неслышимое, крадущееся мимо: «Пройдет немного времени...».

Время! Оно крадется. Дюшка его увидел! Пусть не само, пусть его следы».

Прочитав эти строки о зримом, движущемся времени в начале повести, я почему-то подумал: может быть, стоило осилить всю бездну специальных книг только для того, чтобы так написать о времени? А потом я уже, не останавливаясь, в один присест, основ и рассуждение Левки Гайзера о конечном и бесконечном, и тревожное свидание Дюшки с ночным небом, и забавное предположение, что Дюшкина одноклассница Римка Братенева живет второй раз, а когда была женой Пушкина. И все мне стало понятно: вот оно, материализованное в художественное слово приращение Тендрякова к чтению научных книг.

Кроме того, подозреваю теперь, что чтение это питает бесстрашие мысли. Утекает материя? Что ж, посмотрим, что произойдет дальше, но пугаться не будем. «Черная дыра»? Заглянем. Разберемся? С научной дотошностью и пристальностью взглянемся в будущее.

...Как-то я допоздна сидел у Тендрякова, и он пошел провожать меня до автобусной остановки. Подмерзшие, синие, уже ноздреватые сугробы источали влажно-морозный, горчивый оживающим тальником запах. Нет-нет, да соскальзывали с словых ветвей рыхло-звонкие ошметки снега. Было звездно и тихо. Тендряков опять вздыхал: «Прекрасно! Ах, как прекрасно!» — поддаваясь движениям размякшей, разнежившейся души. Я подумал, что, пожалуй, именно в такие вот минуты и аккумуляруется в ней, отвердевает художническое бесстрашие, которым Тендряков наделен в высокой и завидной степени...

Вячеслав ШУГАЕВ

## «НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ ЛЕНИТЬСЯ!..»

ШТРИХИ  
К  
ПОРТРЕТУ

ют хлещущие слова и презрительно вздрагивает заносчивый суворовский хохолок (если уж быть совсем точным: почти суворовский, который, к сожалению, невозвратно поредел). Когда Тендряков может среди мирной, тихой беседы вдруг вспыхнуть, вскочить, — заматывается от приступа гнева.

— Мы находимся на 407-й отметке над уровнем Великого океана.

Посидели на теплом, забытом плотниками бруске, покурили, потом вбили подвешенный гвоздь «сороковку» в основную доску — оставили, так сказать, свой гвоздь.

Тендряков был весел, ласков, часто повторял: «Прекрасно! Ах, как прекрасно!» — и медленно, запоминая, оглядывался. Вечером мы почему-то решили подняться еще на одну высоту — на крышу недостроенной метеообсерватории. Преодолев кучи битого кирпича, песка, обломков штукатурки, побалансировав по каким-то жиденьким досточкам, завершили это причудливое восхождение на плоской асфальтовой площадке, обнесенной железными поручнями. Невидимо плескалось Братское море, в его черной мгле как-то печаль-

но и желто помаргивал огонек плавучей метеостанции, нас обдавало теплыми волнами запахов цветущего шиповника, влажной травы, дальнего рыбацкого костра. Тендряков снова, со счастливыми вздохами, повторял: «Прекрасно! Ах, как прекрасно!» — должно быть, размягчвшись, разнежившись душой от необъятных сибирских просторств.

и оседают в наших сердцах боль и сострадание к изломанным, исковерканным судьбам; появляется необходимость задуматься и над своей жизнью в лучах этой боли, этого сострадания.

Его дар «довести до невозможного» самую зурядную житейскую ситуацию приобщает нас к страстному, прямо-таки пламенному протесту против равнодушия («Ухабы»), то к мучительным раздумьям над судьбой доброй, работающей Насти, погрязшей во лжи («Поденка — век короткий»), то к безжалостному суду над леденящим душу жизнепродвижением Ивана Ивановича («Кончина»). Кроме говоря, все написанное Тендряковым, или, вернее, почти все не позволяло и не позволяет дремать нашей совести, как бы говорит вслед за поэтом: «Не позволяй душе лениться!»

Опрометчиво, конечно, думать, что «довести до невозможного» — единственная приемлемая творческая позиция в литературе. Есть иные, более плавные, более пластичные, что ли, спосо-

бы изображения, тоже ве-

нази и пишущими машинками. Строил или ставил его (иных глаголов и не употребляй) какой-то народный умулец из Красной Пахры, но, поддавшись известному старинному недугу, не достроил. Чего-то недовинтил, недovyстругал, недоприлепил. Сторяя от любопытства увидеть это уникальное произведение законченным, я всегда спрашиваю:

— Так и не появлялся умулец?

Тендряков с унылой обреченностью разводит руками:

— Появляется и опять пропадает. А доделать не успевает...

Так вот, этот стол всегда завален книгами о новейших теориях в физике, астрономии, генетике. Утврждать не берусь, но, кажется, не только научно-популярными. В простоте душевной я недоумевал: и зачем он только голову забивает? — но недоумевал молча.

Тендряков несколько раз пытался приохотить меня к чтению подобных книг и, разжигая интерес, с большим подъемом пересказы-

стало страшно. Во-первых, страшно представлять себя утекающим куда-то в тартары, во-вторых, стало страшно за ученых: как им-то не боязно заглядывать в эти бездны? Я признался Тендрякову в своем страхе и предложил поговорить о чем-нибудь сугубо земном, например о чеховской «Даме с собачкой». Владимир Федорович расхохотался и больше уже никогда при мне не тратил времени на научное просветительство.

Но вот читаю нынче «Весенние перевёртыши», эстетически-прозрачную прозу, несколько непривычную для Тендрякова. Впрочем, почему непривычную? Ведь принцип «довести до невозможного» торжествует и в ней: непримиримое столкновение Дюшки и Саньки Ерахи, кровопролитный поединок поэзии и тупой силы — он неизбежен, потому что Тендряков довел до невозможности их совместное существование. И вот читаю: «Пуста улица, нет грачей. Улица та же, но и не та — изменилась. Вот-вот... Кажется, он нащупывает след того невидимого, неслыши-